

УДК 130.122

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИСТИКА

© 2010 г.

С.П. Макарычев

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

mams3@mail.ru

Поступила в редакцию 07.12.2009

Сравниваются философские взгляды Ф.М. Достоевского и Н.А. Бердяева по вопросу мистики. Сделан вывод о том, что, несмотря на очевидное сходство между двумя подходами, существуют и серьезные различия.

Ключевые слова: мистика, национальность, аристократизм, творчество, антропология.

Если говорить о русской религиозной философии, то два имени сразу же приходят на ум: это Н.А. Бердяев и Ф.М. Достоевский. Но есть и другие соображения, по которым мы останавливаемся на этих именах.

Во-первых, Бердяев постоянно подчеркивает свою зависимость от Достоевского, называя творчество последнего даже своей «духовной родиной». Отсюда и получилось, что многие идеи мирозерцания Достоевского Бердяев делает своими и в то же время многое из собственного мирозерцания вкладывает в уста Достоевского. Например, это коснулось темы «мистики», так что после Бердяева русская религиозная философия накрепко была связана с понятием мистики. Действительно, если для Бердяева «накопившаяся в глубине мистика должна выйти на поверхность истории, стать творческой силой» [1, с. 211], то у Достоевского совсем этого нет. И даже тогда, когда Достоевский произносит слово «мистика», он предпочитает его как-то понятно расшифровать. Например, делая синонимом мистики «убеждения»: «При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, *ибо она же и создавала ее*. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью». «Чтоб сохранить полученную драгоценность, тотчас и влекутся друг к другу люди... тогда только и начинают отыскивать люди: как бы им устроиться, чтоб сохранить полученную драгоценность, не потеряв из нее ничего, как бы отыскать такую *гражданскую* формулу совместного жития, которая именно помогла бы им выдвинуть на весь мир, в самой полной ее славе, ту нравственную дра-

гоценность, которую они получили» [2, с. 165–166].

Во-вторых, развести высказывания Бердяева и Достоевского важно еще и потому, что это наше ближайшее будущее. Мы уже сегодня научились выделять разного рода конфликты и в сфере экономики, и в сфере политики, а вот в сфере духа, философии подобного рода конфликты порой сглаживаем и не замечаем. И для этого есть свои причины. Очень часто мировоззренческая разность остается до поры до времени спрятанной, она чревата лишь будущим конфликтом.

Но, видимо, для этого и нужна конфликтология, чтобы предвидеть возможные конфликты, в том числе и в сфере философии. То, что сегодня слабо видно, завтра может стать реальностью. Поэтому мы и обращаемся к творчеству Бердяева и Достоевского, чтобы снять внешнюю похожесть их идей и указать на их существенную разность.

Бердяев точно определил одно из достижений Достоевского как переход христианства из периода исключительно трансцендентального его понимания в период более имманентного его понимания. Но сумел ли сам Бердяев проделать подобный переход? Остался ли сам Бердяев верным найденному Достоевским методу? Это тот пункт, на котором мы и собираемся показать отличие творчества Бердяева от творчества Достоевского.

Чтобы показать эту разницу, возьмем одну из статей Достоевского – «Мужик Марей». В ней Достоевский рассказывает о тех каторжных буднях, которым он сам был свидетелем. На каторге шел праздник. Безобразные, гадкие песни, картежные игры под нарами, пьяные, ругательства, ссоры, избитые до полусмерти, несколько раз уже обнажившиеся ножи, злоба в

сердце. А вот и понятное чувство, которое мог выразить и Бердяев: «Ненавижу этих разбойников!»

А далее, анализируя свое самосознание, Бердяев уже прямо пишет: «Я прежде всего человек брезгливый, и брезгливость моя и физическая, и душевная... Это связано с тем, что я с болезненной остротой воспринимаю дурной запах мира... Душевная брезгливость у меня не меньшая» [3, с. 42–43].

Отсюда, как нам представляется, и отношение Бердяева к современности и аристократизму.

В предисловии к «Самопознанию» Бердяев пишет: «...я сознаю себя мыслителем аристократическим...» [3, с. 25]. А потом уточняет: «сливаться же с «народом», что пытались сделать многие интеллигенты, я никогда не мог» [3, с. 462].

Положение об аристократическом смысле научного творчества для Бердяева принципиально. Во-первых, он рисует «возвышенный», ни с кем «неслиянный» образ аристократа, чувствующего полный разрыв со своей политической эпохой и через века обращенного к будущему. Аристократизм и плебейство духа – крайние точки этого устремления. Соответственно, аристократизм – это устремленность в «высь горнюю, а плебейство – это дол, где ползают серединно-общие. Аристократизм предполагает риск незащищенности, жертвенность. Жертвенность всегда благородна, всегда аристократична» [1, с. 468], – пишет Н.А. Бердяев. Удел же плебейства – пользоваться общеобязательной моралью. «Мораль эта не любит горнего, враждебна всякому аристократическому духу» [1, с. 462], – продолжает Бердяев.

Во-вторых, для Бердяева аристократичным является христианство. Аристократом, по его мнению, изображает Достоевский своего Христа в «Легенде о Великом Инквизиторе». «Великий Инквизитор говорит демагогически, прикидывается демократом, другом слабых и угнетенных, любящим всех людей, он упрекает Христа в аристократизме, в желании спасти лишь избранных, немногих, сильных. «Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые». Это очень важное место» [4, с. 30] – так комментирует Бердяев одно из мест «Легенды о Великом Инквизиторе» Достоевского.

И такой философский типаж, как Николай Ставрогин, для Н.А. Бердяева тоже «прежде

всего аристократ духа и русский барин...» [4, с. 48]. «Ставрогин ни с кем не может соединиться, потому что все лишь его порождение, его собственный хаос» [4, с. 51]. «Его трагическая судьба связана с тем, что он – обреченный барин и аристократ» [4, с. 52]. «Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями» [4, с. 53].

Н.А. Бердяев в то же время полагает, что Ф.М. Достоевскому был чужд аристократизм. Он даже переделывает фразу Достоевского о том, что аристократ обаятелен в революции, во фразу, что аристократ обаятелен и в демократии: «Барин и аристократ обаятелен, когда идет в демократию, но он ничего не может в ней сделать, он вообще не может быть полезен, неспособен к «делу».

Аристократизм всегда хочет творчества, а не «дела»» [4, с. 52]. И все-таки Бердяев настаивает на необходимости фигуры аристократа.

Да, Н.А. Бердяев прав, называя Ставрогина аристократом и барином. Так его характеризовал и сам Достоевский, но при этом добавлял: «высоконаучный аристократ» [5, с. 130], «испорченный барчук» [5, с. 132].

Прав Бердяев и тогда, когда замечает, что Христос в «Легенде» у Достоевского во все время монолога Великого Инквизитора молчит. Этим самым Христос как бы возвышается над говорящим Инквизитором и строго отделяется от него. Но как тогда, с точки зрения Н.А. Бердяева, объяснить концовку легенды, когда Христос молча приближается к Великому Инквизитору и тихо целует его в бескровные девяностолетние уста? Это не поступок аристократа, и здесь, пользуясь словами Достоевского, можно сказать, что аристократическая машина Н.А. Бердяева начинает рушиться.

То же самое и со Ставрогиным. По Бердяеву, это – творческий, гениальный человек; все идеи родились в нем, а потом отделились от него и персонифицировались в других героях. Ставрогин ни с кем не может соединиться, потому что и Шатов, и Кириллов, и Лиза, и Хромоножка являются не чем иным, как его перевоплощением. Если во всем этом Н.А. Бердяев прав, то как тогда объяснить «соединение» Н. Ставрогина с монахом Тихоном? С точки зрения аристократизма это необъяснимо.

Н.А. Бердяев так определил свой подход к творчеству: «Общество должно быть организовано так, чтобы хлеб был для всех, и тогда именно духовный вопрос предстанет перед че-

ловеком во всей своей глубине. Недопустимо основывать борьбу за духовные интересы и духовное возрождение на том, что хлеб для значительной части человечества не будет обеспечен... Христиане должны проникнуться религиозным уважением к элементарным, насущным нуждам людей, огромной массы людей, а не презирать эти нужды с точки зрения духовной возвышенности» [6, с. 151]. Бердяеву же принадлежат и другие слова: «Подлинная жизнь есть творчество» [3, с. 275]. Обобщая слова Н.А. Бердяева, можно сказать так: не будет творчества – и любые общественно-политические дела станут обременительными и приведут к нежелательным последствиям.

Н.А. Бердяева можно назвать классиком творчества в нашей отечественной традиции. И есть основания полагать, что современность, скорее всего, выберет этот путь творчества, который он предложил. Мы, однако, не считаем этот путь лучшим, а, напротив, предполагаем, что существует и другой путь творчества, который может быть достигнут после изучения наследия Ф.М. Достоевского.

Аристократ – фигура одинокая, лишенная сомнений. Ему не с кем спорить, ни с другими, ни с самим собой. Н.А. Бердяев предвидит, что «в грядущем предстоит небывалая борьба добра и зла», а новое зло будет более страшным, чем зло прошлого [7, с. 159]. Но откуда в методологии аристократизма появится возможность предвосхитить тот образ, который по силе сравнялся бы с образом Великого Инквизитора? Мы такой возможности не видим. Поэтому и анализ Бердяевым образа Ставрогина для нас является натяжкой. А если, как пишет сам Бердяев, его в молодости называли Ставрогиным [3, с. 46], то и сейчас мы можем повторить: анализ Н.А. Бердяевым образа Ставрогина не выходит за границы методологии аристократизма и не соответствует тому, что хотел сказать о нем сам Достоевский.

Позиция аристократизма, элитарности, конечно, обаятельна. Она может подкупить и получить широкое распространение и признание. Но у нее есть серьезный недостаток: она высокомерна и не признает сильного собеседника. Для аристократизма характерна та ситуация, которую, правда, по другому поводу описал Достоевский:

«–Да ведь в том-то и вся штука, – засмеялся Герцен. – Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. И господином Б.» (Вошла в собрание его сочи-

нений.) В этой статье господин... то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплосше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

– Ну что, как ты думаешь?

– Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять» [8, с. 8].

Аристократизм очень гордится своей несовременностью. На эту гордость можно ответить словами Достоевского: «...несоответственных идей у нас много, и они-то и придавливают. Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и придавливает его напополам, и вот он под ним корчится, а освободиться не умеет» [8, с. 24].

Поэтому Бердяев и пишет: «С Ницше у меня всегда было расхождение в том главном, что Ницше в основной своей направленности «по-сторонен», он хочет быть «верен земле», и притяжение высоты оставалось для него в замкнутом круге этого мира. Я же в основной своей направленности «потусторонен», притяжение высоты было для меня притяжением трансцендентным» [3, с. 128]. Этот отрывок показывает, что Бердяев не преодолел своей тяги к трансцендентному и что имя Ницше вполне можно заменить на имя Достоевский.

Но вернемся к статье «Мужик Марей». У Бердяева и Достоевского есть одно сходство, которое может подкупить. Дело в том, что у Достоевского в похожих ситуациях вырывается слово «хищники» [9, с. 8], но сказано оно совсем по другому поводу. А вот что Достоевский говорит по поводу любви к народу: «Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает. А ведь не все же и в народе – мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают!» [3, с. 43]

Мысль Достоевского идет в направлении, обратном мысли Бердяева. Нужно не тянуться к трансцендентному, наблюдая окружающую грязь, от которой, кстати, русский человек и тоскует более всего сам, а, напротив, погружаться в глубину народной жизни, верить, что все это – лишь наносное и временное. Тогда только может исчезнуть и ненависть и злоба в

сердце, и тех же каторжан не повернется язык назвать только «разбойниками». И как бы подытоживая найденный метод, Достоевский называет себя реалистом в высшем смысле, изображающим все глубины души человеческой. Тем самым Достоевский отказывается от поиска трансцендентной, «потусторонней» религиозности и переходит к «посюсторонней», имманентной, пусть и глубоко спрятанной религиозности в душах человеческих.

Достоевский ищет мировоззрение, которое бы основывалось не на ощущении чуждости мира, а на совсем обратном.

Достоевский хорошо чувствовал это «брезгливое» мироощущение человека, докапываясь до его глубин и в своих художественных произведениях, и в своей публицистике. Брезгливость человека к человеку, брезгливость русской интеллигенции к своему «лапотному», «потному» народу, брезгливость Европы к России. Достоевский прямо пишет о Европе и европейцах: «...мерзим мы ей, мерзим, даже лично... иногда так мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями» [10, с. 35].

И Н.А. Бердяев, и Ф.М. Достоевский исходят из одного антропологического взгляда на человека как на существо творческое. В этом их сходство. Н.А. Бердяев, например, согласен, что в каждом человеке заложено начало гениальности и каждый может быть в иные минуты жизни гениальным [1, с. 16].

Но мировоззрение Достоевского с его всемирной отзывчивостью позволяет ему более напряженно чувствовать свои взаимоотношения с простыми читателями. Не случайно Достоевский постоянно возвращается к вопросу: от чьего имени лучше вести повествование, от имени автора или от какого-то другого лица? Вот лишь некоторые фрагменты из рукописного издания Достоевского к «Подростку». «От Я или от автора?.. Два вопроса, если от автора, будет ли интересно? От Подростка (от Я) интересно само собою. И оригинальнее. И более высказывается характер...»

Если от Я, то придется меньше пускаться в развитие идей, которых Подросток, естественно, не может передать, так как они были высказаны, а передаст только суть дела.

От Я именно тем оригинальнее, что Подросток может пренаивно пересказывать такие анекдоты и подробности, по мере своего развития и неспелости, какие невозможны правильно ведущему свой рассказ автору» [9, с. 98].

Для Достоевского это очень серьезные вопросы. Само собой, при этом продолжает жить традиция, замеченная еще Пушкиным, когда он

вывел в своей повести фигуру Белкина. А кроме того, творческим началом наполняется сам тон рассказа, его наивность: «...наивно, как можно наивнее, только чтоб одна любовь к России была горячим ключом» [11, с. 39].

Таким образом, в российской традиции существуют разные позиции в отношении творчества. Причем даже среди людей, близких по духу и мировоззрению.

Сегодня для нас уже очевидно, что наука вписана в социальную и политическую жизнь общества. В этом отношении показателен, например, проведенный Шредингером анализ взаимосвязи картины мира в квантово-релятивистской физике с культурной средой современной технической цивилизации – современным стремлением к простоте и целесообразности, пристрастием к освобождению от традиций как выражением динамизма социальной жизни, методикой массового управления, ориентированной на поиск инварианта в наборе возможных решений и т.д.

Оказалось, что все эти моменты социальной жизни людей, на первый взгляд очень далекие от собственно научно-теоретического исследования, тем не менее играют самую непосредственную роль в научном познании. И это мнение человека, который стал одним из авторов создания современного естествознания.

Получилось, что в науке существует некий мост, по которому в нее перекачиваются образы и понятия, допустим, из того же искусства. После этого становится вполне понятным признание Эйнштейна, что Достоевский дал ему значительно больше, чем современные физики.

Но все дело в том, что подобная социология науки может успешно развиваться лишь с учетом той антропологии, которую развивал Достоевский. Всемирная отзывчивость Достоевского, отрицая аристократизм Бердяева, расширяет наш взгляд на науку, позволяет не свысока, а заинтересованно отнестись к объекту, видя не только его плюсы и минусы, но и динамику, его будущее. Посмотрите, какая разница во взгляде на науку у Бердяева и Достоевского. Если для первого «наука – не творчество, а послушание», то тезис второго – еще рано выставлять вперед науку и ждать от нее нового единения людей и новых начал общественного организма. Трудно представить, что наука уже настолько знает природу человеческую, что безошибочно может устанавливать новые законы общественного организма. А вот превратить науку в фетиш, новый идол – это можно. Это происходит тогда, когда что бы ни сказала наука, все превращается в истину, любые гипотезы – в аксиомы; а тем

самым и сама наука становится полунаукой. Полунаука, пишет Достоевский, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны. На саму науку должен быть критический взгляд, и дать его может только нравственно-эстетическая позиция личности.

Бердяев писал: «...в Достоевском нельзя не видеть пророка русской революции. Русская революция пропитана теми началами, которые прозревал Достоевский и которым дал гениально острое определение... Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах» [12, с. 144].

Но если Н.А. Бердяев уверен, что Достоевский пророчески, до глубины раскрыл диалектику русской революционной мысли, то тем самым указываются и те начала, от которых и нужно отталкиваться, чтобы, в частности, решать проблемы творческого объединения различных сфер общественной жизни. Прежде чем говорить о творчестве, нужно решение каких-то других вопросов. Вот о них и говорит в своем наследии Достоевский. Таким образом, точки зрения Бердяева и Достоевского на творчество не противоречат, а взаимно дополняют друг друга. Однако последовательность их решения все-таки, на наш взгляд, должна начинаться с ре-

шения тех проблем, на которых настаивал Достоевский.

Бердяев не последовал путем Достоевского, он не пошел в глубину, в имманентное царство души человеческой. Видимо, поэтому для Бердяева таким привлекательным остался путь мистики, в то время как Достоевский совсем обходится без нее.

Список литературы

1. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1979.
2. Достоевский Ф.М. ПСС. Соч.: в 30 т. Наука, 1972–1988. Т. 26.
3. Бердяев Н.А. Самопознание. Лениздат, 1991.
4. Бердяев Н.А. О русских классиках. М.: Правда, 1993.
5. Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 11.
6. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.
7. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Правда, 1990.
8. Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 21.
9. Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 16.
10. Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 27.
11. Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 29.
12. Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М.: Мысль, 1991.

RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSOPHY AND MISTICISM

S.P. Makarychev

The author compares philosophical views of two Russian thinkers – Fiodor Dostoevski and Nikolay Berdiaev, and comes to conclusion that despite obvious similarity between them, there are also meaningful differences which concern their attitudes to aristocracy and creativity. The paper claims that, unlike Dostoevski, Berdiaev shares mystical worldviews.

Keywords: mysticism, nationality, aristocracy, creativity, anthropology.